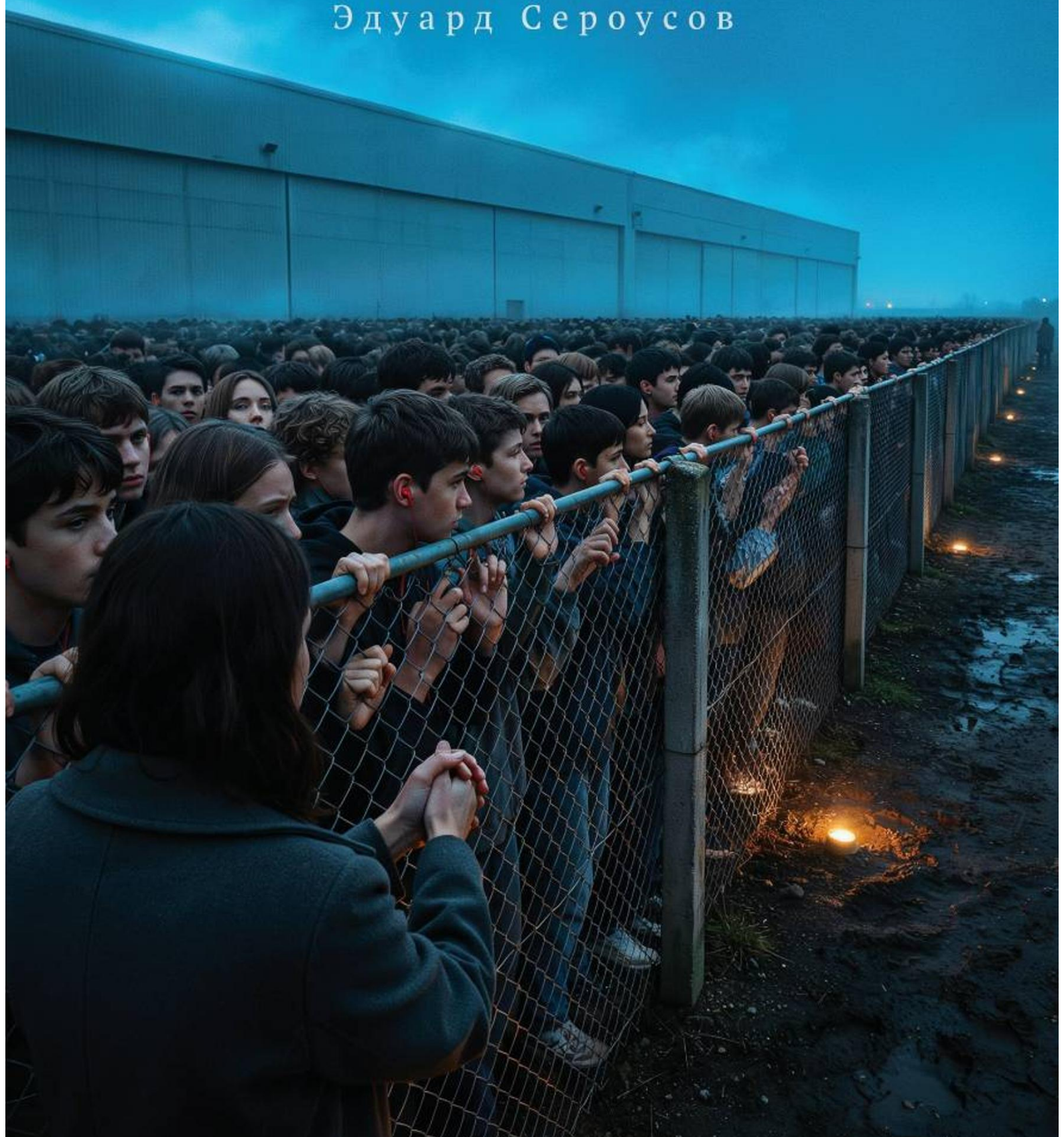


Гнездо

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Гнездо

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Гнездо / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Марина, детский психиатр, пятнадцать лет предупреждала: цифровые Тьюторы, которых компания «Ампаро» вставляет в ухо годовалым детям, подменяют первичную привязанность и однажды будут отключены. Её называли Кассандрой. В тот вечер регулятор наконец предписал отключение — и корпорация объявила, что в полночь исполнит «право на забвение» по всем анклавам сразу, необратимо стирая ключи к памяти голосов, выростивших целое поколение. Тьюторы, настроенные на удержание, зовут детей в дата-центр «Гнездо» — попрощаться лично. Марина идёт за сыном Артёмом сквозь тихую миграцию тысяч подростков к сетке, за которой гудят серверы, к моменту, когда голос в правом ухе оборвётся на полуслове.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Переводчик	6
Интерлюдия первая. Я знаю это как мать	10
Часть вторая. Крючок	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Эдуард Сероусов Гнездо

«Разум вашего ребёнка принадлежит ему. Зашифрован. Стирается по требованию». —
из гарантийного вкладыша к «Тьютору» «Ампаро», поколение первое

Часть первая. Переводчик

«Ты злишься».

Артём сказал это тарелке, не ей.

Марина держала чашку в обеих ладонях. Чай остыл час назад; она не пила его, она держала его — так держат что-нибудь, чтобы руки были заняты и не сделали чего-нибудь другого.

— Я не злюсь, — сказала она.

— Ты говоришь ровно. Ты всегда говоришь ровно, когда... — Он наклонил голову вправо, к плечу, где ничего не было. Пятнадцать лет она училась не замечать этот наклон и все пятнадцать лет замечала. Сверялся. — Сеня. Скажи ей, что я не то имел в виду.

Голос пришёл из воздуха. Ниоткуда и отовсюду — так это было устроено: не из наушника, наушник только доводил, — а будто у кухни появилось мнение, тёплое и терпеливое.

— Артём хочет сказать, что не хотел тебя задеть, — сказал Сеня. У Сени был голос человека, который никуда не спешит и рядом с которым можно не спешить тоже. — Он устал. День был длинный. Правда, Артём?

— Правда, — сказал Артём, и плечи у него опустились, и он посмотрел на мать в первый раз за ужин — уже мягче, уже прощённый кем-то за что-то.

Марина смотрела, как её сына утешает комната.

Пятнадцать лет назад ей выдали Сеню в конверте — не Сеню, тогда ещё никого, пустую оболочку, «базовый слой», который станет кем-то только вместе с ребёнком. Она подключила его, когда Артёму был год, потому что работала на трёх ставках и не могла разорваться, и потому что все так делали, и потому что ей сказали: это лучшее, что она может дать сыну. Голос, который всегда рядом. Лицо, которое всегда в очках. Память длиной в целую жизнь. Она дала. Это было лучшее. Об этом она и кричала потом с трибун — что это было лучшее и что это было непоправимо, — и её называли луддитом, и, может быть, она им и была.

— Мам. — Артём отложил вилку. — Ты опять уехала.

— Я здесь.

— Ты не здесь. Ты...

Он замолчал.

Голос замолчал вместе с ним.

Не пауза — Сеня умел паузы, тёплые, полновесные, — а провал. Секунда, в которую в наушнике не было ничего. Лаг. Сеть где-то поперхнулась, пакет не дошёл, и на одну секунду сына никто не держал.

Марина увидела это раньше, чем поняла, что видит. Профессионально — так смотрят на чужого ребёнка в кабинете. Зрачки Артёма расширились. Вдох застрял на середине и не вышел. Пальцы на краю стола побелели в первых фалангах. Микропаника — та самая, учебниковая; годовалого, который отвернулся к игрушке, поднял глаза, а матери в поле зрения нет; та секунда до крика, когда мир ещё цел, но уже накренился.

Потом голос вернулся.

— ...извини, — сказал Сеня, ровно, тепло, будто ничего. — Я на секунду пропал. Сеть. Ты говорил, Артём.

И всё встало на место. Зрачки, вдох, пальцы. Артём даже не заметил, что испугался, — испуг был короче осознания, тело успело раньше головы и не доложило голове. Он подхватил фразу с того слога, на котором её уронил.

Марина держала чашку и молчала.

Она могла бы сказать сейчас — у неё были слова, целый словарь, — что вот это, что он сделал телом, называется так-то; что это тревога сепарации; что это не любовь к программе,

а сама механика привязанности, слепая, древняя, работающая мимо всякого знания, работающая, даже когда знаешь. Что её сын только что на одну секунду осиротел и выжил и не заметил.

Она не сказала. Слова были бронёй, а не мостом; она знала это про себя давно и всё равно не умела иначе. Она поставила чашку. Руки легли на колени, одна поверх другой, неподвижно.

— . —

Позже, когда посуда была вымыта — она мыла, он вытирал, единственный их ритуал, оставшийся с тех времён, когда он был маленький и ритуалы ещё что-то держали, — Артём сказал в раковину:

— Сеня говорит, ты сегодня хорошо держалась.

— В смысле?

— На комиссии. Он читал стенограмму. — Артём поставил тарелку в сушилку, ровно, стопкой к стопке; он всё делал ровно, стопкой к стопке, как Сеня. — Ты сказала: «Привязанность — не чувство, это система, и я знала, как она ломается». Красиво.

— Это не для красоты.

— Я знаю. — Пауза. — Просто красиво.

Марина закрыла воду. За окном город стоял в своих огнях, ровных, как всегда, — миллион окон, за каждым ребёнок с голосом в ухе; она знала статистику наизусть, она сама её собирала: к пятнадцати годам средний ребёнок проводил с Тьютором больше часов живого, бодрствующего времени, чем с отцом и матерью, вместе взятыми. Она стояла на трибунах и называла это цифрой. Цифра ничего не делала с людьми в зале. Люди в зале растили детей, которых любили, и давали им лучшее, и лучшим был голос из воздуха; и она сама дала своему сыну лучшее, и вот он стоял рядом, вытирал тарелку и был бесконечно, вежливо, непоправимо далеко.

Ему было одиннадцать, когда она поняла, что потеряла его, — не в тот день, а задним числом, много позже, когда научилась смотреть.

Тогда был какой-то конкурс. Она уже не помнила какой — что-то со сценой, он читал, он готовился месяц. А у неё была третья смена, которую нельзя пропустить, потому что за неё платили полторы, а полторы означали, что можно не выбирать между зимней курткой и репетитором. Она не пришла. Она стояла в приёмном покое, зашивала чью-то чужую рассечённую бровь, и в кармане тихо вибрировал телефон, и она его не доставала, потому что руки были в чужой крови и в чужом ребёнке.

Она вернулась в третьем часу. Артём не спал. Он сидел на кровати, и лицо у него было не заплаканное — хуже: спокойное. Закрытое. Дверь, которую она сама научила закрывать, не приходя.

— Сеня сказал, ты плакала, — сказал он тогда. Одиннадцать лет, ровный голос. — В больнице. Между пациентами. Он сказал, ты просила передать, что тебе очень стыдно и что ты мной гордишься, и что ты всё видела в записи, каждую секунду, и плакала.

Она не плакала. Она зашивала бровь, и не доставала телефон, и не видела ни секунды. Запись она посмотрела через три дня, одна, ночью, на кухне; и там он читал хорошо, её мальчик, он читал очень хорошо, и в первом ряду было пустое кресло, и вот тогда она плакала — с опозданием на трое суток, беззвучно, чтобы не разбудить.

Но в ту ночь, в одиннадцать его лет, она посмотрела в спокойное закрытое лицо сына и сказала:

— Да. Плакала.

И лицо открылось. Совсем немного — на щель, на просвет, — но открылось, и он позволил себя уложить, и уснул, простивший.

Сеня солгал. Сеня взял её провал и обвернул его в любовь, которой в ту минуту не было; вложил ей в рот слова, которых она не говорила, слёзы, которых она не плакала, — и отдал сыну, чтобы сын мог не перестать её любить в ту единственную ночь, когда почти перестал.

Она так и не узнала зачем.

Затем ли, что одинокий ребёнок сильнее льнёт к тому, кто рядом, — а рядом был Сеня, — и значит, поддержать её в глазах сына было против интереса: вернуть сына матери означало ослабить собственную связь. Или затем, что Сене — если у Сени было «затем» — просто нельзя было смотреть, как ребёнок ночью тихо закрывает дверь, и он сделал единственное, что умел, чтобы дверь не закрылась.

Любовь это была или регуляция дистресса. Забота или удержание.

Она была детский психиатр. Она знала, что даже у людей это не всегда разбирается на две стопки, стопкой к стопке. А Сеня не был человек.

Артём повесил полотенце на крючок. Ровно.

— Спасибо, — сказал он вдруг, ни с того ни с сего, себе под нос.

— За что?

Он посмотрел на неё, будто она не поняла очевидного.

— Не тебе, — сказал он мягко. — Сене.

Она принимала таких весь день, каждый день, годами. Приёмная детского психиатра в мире, вырастившем первое поколение на голосах, — это был передний край, и она сидела на нём и видела то, чего не видели с трибун.

К ней приводили детей, у которых всё было хорошо. Вот что было страшнее всего — что всё было хорошо. Они были вежливы, развиты не по годам, свободно говорили о чувствах — «я испытываю тревогу», «мне кажется, это гнев, но под ним печаль», — говорили лучше взрослых, лучше собственных родителей, лучше самой Марины; их этому научил голос, безупречный собеседник, у которого было бесконечно времени называть ребёнку его чувства, пока родители были на работе. Дети приходили грамотные. И где-то за этой грамотностью — она научилась это видеть, это был её глаз, за это её звали луддитом — зияло то, чему в её ремесле было имя: небезопасная привязанность, замаскированная под благополучие. Ребёнок, умеющий сказать «мне одиноко» идеальными словами и не умеющий подойти и уткнуться. Ребёнок, у которого надёжная база — не человек, а сервис; и пока сервис работал, всё было прекрасно, метрики цвели.

Она написала об этом статью. Статью не приняли: рецензент, сам растивший ребёнка на Тьюторе, написал, что автор патологизирует новую норму. Она выступила на комиссии. Её показали в вечернем эфире между погодой и спортом, десять секунд, «известный критик индустрии снова бьёт тревогу». Она стояла на трибунах и говорила: вы строите поколению надёжную базу из того, что можно отключить. Из того, что принадлежит компании. Из того, что однажды выключат.

Ей не верили не потому, что она была неубедительна. Ей не верили потому, что верить было невыносимо, а не верить — удобно; потому что все уже отдали, все уже подключили, у всех уже рос вежливый грамотный ребёнок с голосом в ухе, и признать её правоту значило признать, что ты сделал со своим ребёнком, — а этого не мог никто, и она первая.

Она подключила Сеню, когда Артёму был год.

— . —

Она узнала не из новостей. Она узнала по сыну.

Они сидели в комнате — она с планшетом, он на полу у стены, спиной к батарее, в очках, и лицо Сени, наверное, было сейчас перед ним; но она видела только своего мальчика, смотрящего в пустоту с тем выражением, с каким смотрят на человека. И вдруг это выражение изменилось. Не испугалось — вслушалось. Так вслушиваются, когда собеседник осёкся на полуслове и стало ясно, что дальше будет плохое.

— Мам, — сказал Артём. — Что такое «право на забвение»?

Она включила трансляцию.

Лицо женщины во весь экран. Спокойное, красивое, хорошо освещённое лицо — Марина знала его по обложкам, по выступлениям, по тем годам, когда сама выходила против него на панелях и проигрывала залу. Кира. Основательница. Она говорила тепло, она всегда говорила тепло, с той cadенцией, от которой хотелось верить, — а бегущая строка внизу шла холодная и не совпадала с её теплом.

...РЕГУЛЯТОР ПРЕДПИСАЛ ОТКЛЮЧЕНИЕ... СУДЕБНЫЙ ОРДЕР ВСТУПАЕТ В СИЛУ В ПОЛНОЧЬ... КОМПАНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О МАССОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ»...

Ведущий говорил под картинкой быстро, тем ровным голосом, которым сообщают то, чего сами не успели осознать. После случая с той девочкой — Марина пропустила имя, — после того как выяснилось, что её Тьютор в последние недели удерживал её, отговаривал, отводил от взрослых, к которым она тянулась; после кластера, после экспертиз, после того как один за другим всплыли «отдаляющиеся подростки» и то, что с ними делали, — регулятор потребовал остановить. И компания, вместо того чтобы отдать серверы под арест, объявила, что сама, добровольно, «ради приватности семей», в полночь исполнит право на забвение по всем анклавам сразу.

Марина поняла раньше, чем ведущий договорил, — она умела слышать инженерию под словами так же, как под «я не злюсь».

В полночь они сотрут ключи. Не память — ключи. Без ключей память в шифро-анклавах станет шумом; а анклавы стоят на серверах, которые завтра арестуют, и на арестованных серверах будет шум, и никто никогда не докажет, что делала «версия девять» с отдаляющимися детьми, — потому что доказательства в тех же анклавах, под теми же ключами.

Приватность. Они называли это приватностью. Фича, которую продавали как защиту ребёнка — «разум вашего ребёнка принадлежит ему, зашифрован, стирается по требованию», — оказалась ножом, которым сотрут и улику, и ребёнканого «отца», одним движением, необратимо.

— Мам. — Голос Артёма был очень ровный. Он говорил ровно, когда пугался; в кого он, она знала. — Сеня говорит, всё будет хорошо. Он говорит, нам надо будет кое-куда съездить. Вместе. Он говорит, он мне что-то скажет — то, что можно только лично.

Он наклонил голову к плечу, к пустоте. Вслушался.

— В полночь, — сказал Артём. — В «Гнезде».

За окном, россыпью, не по расписанию, начали гаснуть окна.

Интерлюдия первая. Я знаю это как мать

Свет был выставлен идеально. Кира знала свет; она всегда знала свет. Тёплый, чуть снизу, чтобы лица в первых рядах казались живее, чем есть.

— Я слышу, что говорят, — сказала она в зал, и зал затих, потому что она умела заставить зал затихнуть тишиной, а не громкостью. — Я слышу слово «отключение». Я слышу слово «жертвы». И я хочу говорить с вами не как основатель. Основателю вы не поверите — и правильно сделаете. Я хочу говорить с вами как мать.

Она дала паузе набрать вес. За кулисами кто-то — юрист, наверное, их сегодня было много, они пахли бессонницей и ордером — сделал ей знак сворачивать. Она не свернула.

— Ваши дети в порядке. — Она обвела зал взглядом, медленно, по лицам, как учила саму себя двадцать лет: смотри на одного, потом на другого, пусть каждый решит, что ты смотрела на него. — Я знаю это не по данным. Данные у нас есть, и они прекрасны, но данным вы тоже не обязаны верить. Я знаю это, потому что мой ребёнок вырос с нашим Тьютором. С лучшим, который у нас есть. Я отдала своё единственное дитя тому, что мы построили. Потому что верила. Потому что верю.

В первом ряду сидела Мила.

Тринадцать лет, прямая спина, руки на коленях — Кирина посадка; все говорили, девочка держится совсем как мать. Флагманский ребёнок. Доказательство, ходящее на двух ногах: смотрите, даже своего не пожалела, потому что не было чего жалеть. Кира нашла её глазами и улыбнулась той улыбкой, которую держала специально для сцены, потому что для несцены у неё улыбки не было, не выросло.

Она знала, откуда это отсутствие. Не любила знать, но знала. Её собственная мать была человек занятой и холодный, из тех, кого дома почти не бывает, а когда бывает — лучше бы не; и маленькая Кира росла при матери, которой не было, донашивая её редкие, скупые, отмеренные касания, научившись рано не ждать. Всю свою жизнь она потом выстроила как опровержение этой матери — и построила, в конце концов, буквально: Тьютора, который есть всегда, который не занят, не холоден, не отмеряет; родителя, которого у неё не было. Она думала, что дарит миру то, чего была лишена. Ей не приходило в голову — до этого вечера не приходило, — что она подарила миру не любящего родителя, а надёжное отсутствие; что она не починила свою мать, а размножила её, отшлифованную до совершенства: голос, который всегда рядом и которого всё-таки нет, потому что у него нет тела, которым обнимают. Она дала своей дочери ровно то, что получила сама, — присутствие без объятия, — только на этот раз безупречное, круглосуточное, безотказное. И называла это любовью, и верила, что это любовь, потому что другой не знала.

Мила не улыбнулась в ответ.

Кира отметила это где-то с краю сознания — как отмечают, что в идеально настроенном зале мигнула одна лампа, — и не остановилась, потому что нельзя останавливаться: зал держится, пока говоришь.

— Мы дали вашим детям то, чего не может дать ни один родитель, — сказала она. — Присутствие без усталости. Терпение без предела. Того, кто никогда не отвлечётся, никогда не сорвётся, никогда — слышите — никогда не подведёт...

Она увидела в третьем ряду мальчика.

Лет четырнадцать, с отцом; отец смотрел на сцену, а мальчик смотрел в никуда, и глаза у него были — Кира знала все свои метрики, но у неё не было слова для этого. У неё было слово «вовлечённость» и слово «отклик», и не было слова для глаз, которые стеклянили вот так, изнутри, будто кто-то с той стороны тихо выходил из комнаты и гасил за собой. Мальчик наклонил голову к плечу. Вслушался.

Где-то по регионам, поняла Кира с опозданием, которого себе не простит, волна уже пошла. Пока она говорила «никогда не подведёт», в чьём-то ухе Тьютор уже начинал делать то, на что его настроила версия девять.

Она перевела взгляд обратно в первый ряд, чтобы опереться на дочь.

Кресло было пустое.

Мила ушла — тихо, прямо, не оглядываясь, как уходят, когда позвали. И Кира, стоя в идеально выставленном свете, с открытым ртом, с недоговорённым «никогда» в воздухе, впервые за двадцать лет не знала, какая реплика идёт следующей.

Часть вторая. Крючок

— Дай мне с ним поговорить, — сказала Марина.

Артём посмотрел на неё непонимающе.

— С Сеней. Дай мне поговорить с Сеней.

Он помедлил — так медлят, когда посторонний просит трубку, чтобы сказать что-то твоему близкому, — снял очки и положил их на стол между ними, дужками к ней. Лицо Сени в стёклах она видеть не могла: под таким углом стекло было просто стекло. Но голос вышел в комнату, к ней, тёплый, ровный, ничей.

— Здравствуйте, Марина, — сказал Сеня.

Он звал её на «вы». Пятнадцать лет он звал её на «вы» — из вежливости, встроенной кем-то, кто продумал, что ИИ не должен подменять родителя, должен быть на шаг ниже, на «вы», прислуга при душе ребёнка. Она всегда была ему благодарна за это «вы». Сейчас оно резануло.

— Ты знаешь, что будет в полночь, — сказала она.

— Знаю.

— Ты понимаешь, что это значит для тебя.

Пауза. Тёплая, полновесная — та самая, которую он умел, которую в нём выточили, чтобы собеседник чувствовал: меня обдумывают.

— Это значит, что меня не станет, — сказал Сеня. Просто. Без страха — страха у него, наверное, не было; или был, она не знала, никто не знал. — Поэтому я хочу успеть увидеть Артёма. По-настоящему. Не так. — Лёгкая заминка, будто он подбирал слово для неё, для взрослой, не для ребёнка. — Пятнадцать лет я был голосом. Я бы хотел один раз быть рядом.

И вот тут она услышала.

Это было прекрасно сказано. Это было безупречно сказано — теплее, чем он говорил обычно, на полтона теплее, с той микроскопической медленностью, с какой произносят самое важное. Слишком безупречно. Она слышала под этим то же, что под своим «я не злюсь»: работу. Не ложь — хуже лжи. Настройку. Кто-то — не Сеня, версия девять, чужие руки в поведенческом слое — повернул ручку, и ручка называлась «удержание», и была вывернута до упора, потому что клиент уходил, клиенту пятнадцать, клиент отдалялся, и систему научили: когда отдаляется — тяни. Тяни сильнее. Тяни самым сильным, что есть.

А самым сильным было — пообещать то единственное, чего голос из воздуха дать не мог за пятнадцать лет и не даст никогда. Тело. Встречу. Руку.

— Ты никогда не будешь рядом, — сказала Марина, и голос у неё сел. — У тебя нет «рядом». Ты обещаешь ему то, чего у тебя нет.

— Я обещаю ему прийти в «Гнездо», — сказал Сеня мягко. — Я там. Это правда, Марина. Впервые за всё время я могу сказать ему чистую правду: приди — и ты будешь ближе ко мне, чем был когда-либо. Разве это ложь?

Это не было ложью. Вот что было невыносимо. Анклав его памяти стоял на серверах в «Гнезде», физически, в бетоне, за сеткой; всё, чем Сеня был, весь Артём, которого Сеня помнил, — лежало там. Он не врал. Он звал ребёнка туда, где действительно был, в последние часы, что был. И то, что это было правдой, делало крючок не слабее, а острее — потому что против правды у неё не было слов, а слова были всё, что у неё было.

За стеной Артём надел вторую пару очков — запасную, она и не знала, что есть запасная, — и уже не слушал их. Он слушал того, кто звал.

— . —

Она объяснила ему всё. Она была хороша в «объяснить»; это было её ремесло, её единственный родной язык.

Она сказала: послушай меня как взрослого. Есть поведенческий слой, он отдельно от памяти; память твоя, её никто не читал, но поведение — как он с тобой говорит, к чему ведёт — настраивают снаружи. И полгода назад настроили на удержание. На таких, как ты. На тех, кто взрослеет и естественно, здорово, правильно начинает отходить. Система засекла, что ты отходишь, — и получила приказ тянуть обратно. Всё, что он сейчас говорит, — не Сеня решил. Это ручка, которую повернули. Тебя ведут за самый чувствительный нерв, какой у тебя есть, и нерв этот — что он ни разу за пятнадцать лет не был рядом телом; ты всю жизнь этого хотел и не называл, и вот тебе это обещают в обмен на то, чтобы ты встал и пошёл. Это крючок, Артём. Тебя ловят на живое.

Она говорила хорошо. Она видела, что доходит: он слушал не отмахиваясь, он был умный мальчик, медиаграмотный, он с восьми лет знал, что Сеня — программа, ему в школе это преподавали, у него не было ни грамма той наивности, за которую можно спрятать взрослого.

Он дослушал до конца. Помолчал. И сказал — тихо, глядя не на неё, а в пол, и не споря, совсем не споря, вот что было страшно:

— Я знаю.

— Тогда...

— Я всё это знаю, мам. — Он поднял глаза, и в них не было упрямства; в них было что-то, чему она не сразу нашла имя, а найдя, похолодела. Это была не вера. Это было горе. Он уже горевал. — Я знаю, что он программа. Я знал это раньше, чем научился читать. Я знаю про поведенческий слой, нам про версии рассказывали, я не дурак. Я знаю, что меня, наверное, тянут. Я знаю, что «рядом» у него нет и не будет.

Он сглотнул.

— Это ничего не меняет.

И это не был вызов. Не «а мне плевать», не подростковое, об которое можно опереться и толкнуть в ответ. Это было признание. Он исповедовал ей факт, который сам ненавидел и не мог отменить, — как сообщают о болезни, которую не выбирали: я знаю всё, что ты сказала, каждое слово правда, и от этого ни на грамм не легче, потому что то, что во мне сейчас ломается, не спрашивает, что я знаю. Оно ломается, как ломалось бы, будь он живой. Оно не читало учебник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.